

Л.Петрушевская. Шопен и Мендельсон

Одна женщина всё жаловалась, каждый вечер за стеной та же музыка, то есть после ужина старики соседи, муж с женой, как по расписанию, как поезд, прибывают к пианино, и жена играет одно и то же, сначала печальное, потом вальс. Каждый вечер шурум-бурум, татати-татата. Эта женщина, соседка стариков, смеясь, всем своим знакомым и на работе рассказывала об этом, а самой ей было не до смеха. Всяко ведь бывает: и голова болит, и просто хочется отдохнуть, невозможно ведь каждый вечер затыкать уши телевизором — а у стариков всё одна и та же шарманка шурум-бурум, татати-татата.

Они, старики, и выходили всегда только вместе, чинно и благородно семенили в магазинчик тоже по расписанию, раненько утром, когда взрослые, сильные и пьяные находятся на работе или спят, и никто не обидит.

Короче, со временем эта соседка даже узнала их репертуар, спросила довольно грубо, в своём шутовском стиле, столкнувшись с ними (они как раз шли в магазинчик во всём светлом и выглаженном, как на бал, она в поношенной панамке, он в белой кепочке, глазики у обоих радужные, ручки сморщенные) — чё это вы всё играете, здравствуйте, не пойму — то есть она-то хотела сказать "зачем вы всё играете мешаете", а они поняли ровно наоборот, всполошились, заулыбались всеми своими ровными пластмассовыми зубками и сказали, она сказала, старушка, «Песня без слов из цикла Мендельсона и вальс какая-то фантазия Шопена» (тьфу ты, подумала соседка).

Но всё на свете кончается, и музыка вдруг кончилась. Соседка вздохнула свободно, запела и завеселилась, она-то была одинокая брошка, то есть брошенная жена, вернее даже не жена, а так, получила по разъезду однокомнатную квартиру, и кто-то у неё поселился, жил, приколачивал полку на кухне, даже кое-что купил для снаряжения уборной как настоящий хозяин, пришёл с седлом в упаковке и поставил его на болты, приговаривая, что что же это за сиденье, сидеть нельзя. А потом вернулся обратно к себе к матери. И тут эта музыка каждый вечер за довольно тонкой, как оказалось стеной, вальс Шопена и с ошибочкой в одном и том же месте, с запинкой, как у застарелого патефона, можно убиться. Телевизор же стоял у другой стены, а здесь был диван, как раз патефон оказывался каждый вечер под ухом. То есть слух у этой соседки обострился как у летучей мыши, как у слепого, сквозь весь грохот телевизора она различала проклятых Мендельсона и Шопена.

Короче, внезапно всё кончилось, два дня музыка молчала, и спокойным образом можно было смотреть телевизор, петь или плясать, правда, кто-то отдалённо как бы плакал, как ребёнок пищит выше этажами, но это тоже кончилось. "Ну и слух у меня", — потом сказала на работе эта соседка стариков, когда всё выяснилось, то есть что этот писк был писк мужа старушки пианистки, она была найдена не где-нибудь, а под мужем на полу, он уже, оказывается, давно лежал парализованный в кровати ("а я-то думала нет, я вроде их встречала, но это было ведь давно?" — сама с собой продолжала этот рассказ молодая соседка), он лежал парализованный, а жена каждый вечер, видимо, играла ему свой репертуар под ухом у соседки, чтобы его, видимо, развеселить, а потом она как-то упала, умерла у его кровати, и он стал сползать, видно, к телефону и в конце концов рухнул на свою жену, и из этого положения всё-таки позвонил как-то, квартиру вскрыли, оба они уже были неживые, быстрый исход.

"Ну и слух у меня", — жаловалась их молодая соседка всем подряд по телефону, вспоминая тот отдалённый писк или плач и рассчитывая то время, которое понадобилось (вечер и вся ночь и весь следующий день), чтобы старик дотянулся до телефона, это он пищал, старичок, видимо.

"Ну и слух у меня", — с тревогой думала соседка о будущих соседях и вспоминая про себя с

любовью и жалостью Шопена и Мендельсона, — вот это были люди образованные, тихие, пятнадцать минут в день шумели, и всё, кто придёт им на смену? И умерли с разницей в день, как в сказке, жили долго и умерли с разницей в день", — примерно так она думает, оглушённая тишиной, Шопен, Шопен и Мендельсон.

А.Приставки. Человеческий коридор

Это было в сорок первом году. Темная и суровая Москва, спасая нас, детей, от войны, погрузила в поезда и отправила в Сибирь. Мы ехали медленно, задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас высадили и повели на вокзал. Была ночь.

— Здесь есть пища, — сказал Николай Петрович, сутулый, желтый от болезни человек.

Вокзал хлестанул по глазам ярким светом. Но скоро мы увидели и другое. Многотысячная толпа беженцев осаждала единственный ресторан. Там шевелилось что-то черное, и ухало, и кричало. Ближе к нам, прямо на рельсах, стояли, сидели, лежали люди. Здесь начиналась очередь.

Мы стояли и смотрели на окна. Там было тепло, там раздавали людям горячую, дымящуюся жизнь, наполняя ею тарелки. Потом встал наш Николай Петрович на ящик и что-то закричал. И нам было видно, как он нервно вздергивает острые плечи. И голос у него слабый, голос чахоточного человека. Кто из этих голодающих, сутками простаивающих беженцев сможет его услышать?..

А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и маленькая трещинка расколола черную толпу. А потом мы увидели еще: какие-то люди взяли за руки и образовали коридор. Человеческий коридор...

Я потом побродил немало, но всегда мне казалось, что я не перестаю шагать этим человеческим коридором. А тогда — мы шли через него, качающийся, живой, трудный. И мы не видели лиц, просто стена больших и верных людей. И яркий свет «дали. Свет, где нам было очень тепло, где и нам отвалили по целой порции жизни, горячей жизни, наполнив ею до краев дымящиеся тарелки.